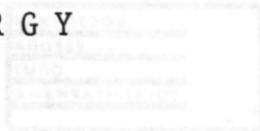




Советская Азия



KONRÁD GYÖRGY



A cinkos

"



MAGVETŐ KIADÓ, BUDAPEST
1989

ДЁРДЬ КОНРАД

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ИЗДАНИЙ

Соучастник

издательской программы

Издательство «Либрокомпания Актион» 107031, Москва, ул. Краснопресненская, д. 28а, строение 1, этаж 1, комната 101

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

роман

«Моя любовь Гитлеру» (1939) — роман о будущем автора в нацистской Германии, написанный в изгнании в Бразилии. В книге описаны опасности политической деятельности и любви к нацистской Гитлеру. Роман включает в себя описание жизни германской элиты и политической борьбы между нацистами и коммунистами.

«Родители» (1940) — роман о судьбе родителей героя романа «Моя любовь Гитлеру». В книге описаны опасности политической деятельности и любви к нацистской Гитлеру.

литература

литературные материалы

литературный критико-биографический материал о Михаиле Булгакове



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ИЗДАНИЙ
МОСКВА 2003

ББК 84.4
К 64

Издание осуществлено при поддержке
The Translation Fund of the Hungarian Book Foundation

Данное издание выпущено в рамках проекта «Восточная Европа – опыт тоталитаризма. Зарубежная художественная литература XX века» Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) – Россия и Института «Открытое общество» – Будапешт

Конрад Дёрдь

К 64 Соучастник / Пер. с венг. Ю. П. Гусева. — М.: Языки славянской культуры, 2003. — 392 с.

ISBN 5-94457-081-4

Роман «Соучастник» Дёрдя Конрада, бывшего венгерского диссidenta, ныне крупного общественного деятеля международного масштаба, посвящен осмыслиению печальной участии интеллигенции, всерьез воспринявшей социалистическое учение, связавшей свою жизнь с воплощением этой утопии в реальность. Роман строится на венгерском материале, однако значение его гораздо шире. Книга будет интересна вся кому, кто задумывается над уроками только что закончившегося ХХ века, над тем, какую стратегию должно выбрать для себя человечество, если оно еще не маxнуло рукой на свое будущее.

84.4

Конрад Дёрдь СОУЧАСТНИК

Издатель А. Кошлев

Художественное оформление переплета
М. Михальчука и Ю. Саевича

Корректор О. Чичварина

Подписано в печать 6.12.2002. Формат 60×90¹/16.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 24,5. Заказ № 2539.

Издательство «Языки славянской культуры».
ЛР № 02745 от 04.10.2000.

Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
E-mail: Lrs-kozlov@mtu-net.ru

Каталог в ИНТЕРНЕТ <http://www.lrc-mik.narod.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов в ФГУП ордена «Знак Почета»
Смоленской областной типографии им. В. И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, пр-т им. Ю. Гагарина, 2.

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20
c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G·E·C
GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for
sales on this book.

ISBN 5-94457-081-4



9 785944 570819

© Ю. П. Гусев, перевод на
рус. яз., 2002

прогресса, тех сил, которые обещают устроить рай на земле. А во времена революций и войн, в противоположность тому, что же и каким образом было создано наше наследие (то, что называют «культурой»), эти силы выдают нам, гражданам, умствами измождеными, забытыми, в проклятии и страхе.

Но с другой стороны, на собственной практике ясно, что это, конечно, Юрий Гусев, который говорит о том, что Т., это лишь подпись на документе, а не человек («Я подписал документ — «клинический диагноз»»).

Содержание

<i>Роман «Соучастник» — глазами переводчика (Ю. Гусев)</i>6
Клиника.....9
Семья.....73
Война.....137
Политика.....211
Прощание.....326

Роман «Соучастник» – глазами переводчика

Герой этой книги – интеллигент. Представитель того общественного слоя, который в массовом сознании ассоциируется со спокойной, размеренной жизнью, работой за письменным столом, размышлениями над всякими умными вещами, обогащением духовной культуры человечества.

Возможно, в благополучных странах, в благополучные времена оно так и есть. Вот только в нашем регионе, Восточной Европе, благополучных стран нет, благополучные времена тоже как-то не спешат вспоминаться. И интеллигенция здесь, при всем огромном духовном потенциале, которым она обладает, при всей ее выдающейся роли в развитии мировой культуры (взгляните хоть на историю авангарда: ведь он, даже на Западе, в основном «сделан» выходцами с периферии, прежде всего из Восточной Европы), – это самый потерянный, самый несчастный класс. С одной стороны, она, интеллигенция, вырабатывает идеологию революций, с другой – любая революция именно их, «очкиариков», в первую очередь ставит к стенке, уничтожает едва ли не с большей жестокостью и ненавистью, чем классовых врагов. С одной стороны, любой рабочий и крестьянин мечтает о том, чтобы его дети получили образование, не занимались грязной и тяжелой физической работой; с другой стороны, интеллигенты в массовом мнении – дармоеды, щелкоперы и т. п.

Соучастник чего – герой Д. Конрада?

Можно ответить и так: соучастник преступления. Или (что, увы, практически то же самое) – соучастник истории. Истории XX века. Ведь беда интеллигенции в том, что лучшая ее часть – люди общественно активные, болеющие за свой народ, за свою страну, за человечество, наконец. Поэтому они всегда оказываются в первых

шеренгах тех сил, которые обещают устроить рай на земле. А поскольку рай на земле, видимо, в принципе невозможен, они же и страдают первыми, когда логика истории (то, что называют «колесо истории») вдавливает их, очками, умными высокими лбами, в кровавую грязь.

На собственном опыте, на собственной шкуре испытав все это, герой Конрада (некто, обозначенный инициалом Т., что лишь подчеркивает – как у Кафки – его собирательность) уходит от общества, от всяких форм **соучастия** – в сумасшедший дом.

«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры», – написал в свое время Шекспир, с грустью убедившись, что человек готов играть любую, даже самую неприглядную роль, лишь бы не быть самим собой. Со временем Шекспира мир не только не стал лучше, разумнее, человечнее: он утратил даже сходство с театром – учреждением, в общем-то имеющим отношение к духовности. Конрад избирает другую метафору: сумасшедший дом. По логике художественной мысли, во всеобщем разгуле безумия самое разумное, самое человечное место – психиатрическая клиника, где ты оказываешься среди добрых идиотов и безобидных, или, во всяком случае, честных маньяков и шизофреников, где ты со спокойной совестью можешь оставаться самим собой, где царят естественные, исконно мудрые – почти в духе руссоистской утопии, но лишенные всякого утопизма – законы человеческого общежития.

Активное участие в истории, серьезное отношение ко всякого рода идеологиям – путь к саморазрушению личности. Герой книги в последний момент нашел способ спасти себя, отпрянуть в сторону. Его младший брат – не успел, не сумел сделать этого; для него выхода нет.

С сочувствием ли, с пониманием ли воспримет читатель тот способ спасения, который показан здесь Конрадом, – зависит от читателя, от его характера, жизненного опыта, условий жизни. Но, мне кажется, с метафорой «мир – сумасшедший дом» не согласиться просто невозможно.

Ю. Гусев

Эта книга – не автобиография, а плод фантазии. Дань почтения старшим моим друзьям, с которыми история обошлась более жестоко, чем с моим поколением. Именно эта разница в возрасте дала мне возможность описать их тернистый путь. Примите мою благодарность, все, кто в том или ином эпизоде книги узнает себя или события, о которых вы мне рассказывали.

Клиника

1

Целый день я веду нескончаемые беседы с призраками, вспыхивающими в сознании; мгновения прошлого взбухают и лопаются, как восковые ячейки в центрифуге при откачивании меда из сот. Хлам бредовых видений расползается, заполняя меня; это целая маленькая вселенная. Смиренный путник, я оказываюсь то в одном саду, то в другом, меня швыряет из постели в постель, из одного тела в другое. С младшим братом, Дани, мы стоим в кузове грузовика, пыльный ветер сотрясает ветви платанов, рядом, у наших ног, сидит наш дед в белом саване, монотонно умоляет нас бросить оружие. Брат поднимает над головой свой автомат и выстреливает весь магазин в воздух. Мы, заговорщики, сидим в лесу на поляне. Я не знаю, чего мы хотим, и гадаю, сколько лет могут нам дать и кто из нас — осведомитель. Я едва узнаю брата: на голове у него — светлый парик, он пятится от меня, мягко ступая по прошлогодней листве. Я иду за ним через редковатую тополиную рощу; он, закрыв глаза, лежит на широкой лавке в бревенчатой хижине, я отодвигаю его к стене, чтобы лечь рядом, он пытается столкнуть меня на пол, мы устали от долгой борьбы, он показывает на потолок: там — огромный циферблат, стрелки на нем врачаются с головокружительной скоростью. В одних носках я шагаю по тюремному коридору, меня ведут к начальнику. «Не могу привыкнуть к мысли, что я за решеткой», — говорю я. Он кладет руку мне на плечо: «Глупый юноша, поймите же наконец: вы здесь — в храме разума!» Я отгибаю прутья решетки в окне камеры, пол весь в блевотине, за спиной у меня старик, он плачет, просит, чтобы я взял его с собой. Взвалив его неудобное, рыхлое тело на спину, я плыву куда-то в зеленой стоячей воде. Я бы рад избавиться от него, но наши с ним шеи туто связаны мокрой верев-

кой. «Тихо, тихо, сынок, не спеши!» — говорит отец; из его густой бороды поднимаются пузырьки воздуха. «Сделай же что-нибудь,— кричу я ему,— ты ведь раввин все-таки!» «А, какой из меня раввин,— отвечает он безнадежно,— если я все десять заповедей преступил». Мы едем с матушкой в поезде, багажная сетка над головой завалена пакетами и пакетиками, напротив сидит офицер, матушка подтягивает повыше краешек красного платья на красивой коленке. Входит однорукий ревизор, кладет на сиденье фонарик, компостер, вонючей ладонью зажимает мне рот. Я пронзительно визжу, матушка издает воркующе-стонущие звуки. «Утихомирь своего щенка!» — тяжело дышит ревизор. Офицер расстегивает кобуру и, опустив окно, стреляет в ворон на телеграфных столбах. В вагоне-ресторане я даю сеанс одновременной игры толстоногим и толстозадым тюремщикам: еще один неверный ход, и меня отправят на виселицу. Приходит жена, она была моим последним желанием; она примеряет на узел белокурых волос шляпки с широкими полями, требует, чтобы я сказал, какая идет ей больше всего. «Меня повесят», — говорю я непримиримо. «Да не думай ты о такой ерунде, глупенький», — говорит она, и ее большие полные губы тянутся к моему лицу. Поезд вкатывается под стеклянную крышу обнесенного решеткой вокзала, служащие здесь — сплошь зэки. Арестант приносит мне чистую рубашку, я ищу на ней тюремный штамп. Меня фотографируют, кладут под пальцы подушечку с черной краской. «Лобковые вши имеются?» — звучит вопрос. В рубахе без воротника, длинных подштанниках, башмаках без шнурков я шагаю по коридору. «Тебя в зале для некурящих будут кончать», — доверительно шепчет мне оказавшийся рядом зэк. «Почему для некурящих?» — встревоженно спрашиваю я. «В другом зале — прием правительственный. Красный ковер видишь?» Я прихожу куда-то, вокруг — стены в пятнах грязно-зеленого мха, в ржавых потеках; в пустых проемах стоя мочатся женщины, лица у них в синяках. Меня ведут сквозь строй, по спине хлестко бьют шомпола, я тороплюсь, хотя никто меня не торопит, и, выбив раму окна, прыгаю в пустоту; над брускаткой двора натянута проволочная сетка, она, пружиня, подбрасывает меня. Я сижу на длинной скамье, рядом со мной — надзиратель с румянцем во всю щеку, дальше кто-то бледный, в штатской одежде, потом еще один краснорожий надзиратель, и снова бледный

штатский; запястья наши в наручниках. Из коридора меня ведут в банное помещение, кругом – раскрасневшиеся братья-обезьяны, вода течет с кончиков их хвостов, зажмуренные глаза, закинутые назад головы, они купаются в илистой толще памяти, в воскресной благодати, в теплоте околоплодных вод. Уронив голову на грудь, я сижу по-турецки на деревянной решетке под душем, раскачиваюсь взад-вперед, у меня с собой лезвие, сохраненное во всех шмонах, сейчас бы самое время вскрыть вены, вскрыть и смотреть, как теплая мыльная вода под решеткой уносит в канализацию мою кровь. Из душа вдруг начинает сочиться ржавая жижа; на лбу моем каплями проступает раскаяние. Я сижу в коридоре, кто-то выходит и сообщает, что у меня родилась дочь; я сижу в коридоре, кто-то выходит и сообщает, что мой друг вряд ли уже придет в себя; я сижу в коридоре, меня вызывают как свидетеля, вызывают как обвиняемого, не вызывает никто, хотя время посещений уже закончилось. С автоматом в руках я стою у окна в коридоре госпиталя, в только что освобожденном гетто, мимо провозят труп, накрытый серым одеялом, я смотрю вниз, во двор, где высокой, до уровня второго этажа, грудой громоздятся полураздетые тела с вывернутыми, нелепо торчащими руками и ногами; поблизости открывается дверь, и я обнимаю белую тень. Из последних сил я бегу по коридору, из-за коричневых дверей мне на встречу высекают сердитые люди; спустя час, поддерживая под мышки, меня выводят в одну из этих дверей, ноги мои, словно тряпичные, тащатся по полу. В коридор выходит зэк-парикмахер в белом халате, недоуменно смотрит на окровавленную бритву, зажатую в правой руке, за спиной у него, в комнате, во врачающемся кресле, уронив голову набок, сидит мой товарищ по заключению, у парикмахера сегодня заканчивается пятнадцатилетний срок, я должен был бы стать его последним клиентом. С палкой, в больничной пижаме, я шагаю по коридору, улыбаюсь идущей навстречу сестре, у нее каменное лицо; в углу, стоя на четвереньках, скулит мой бывший соратник, хватает меня за шнурки ботинок; он боится встать на ноги: вдруг в окно влетит пуля; он клянчит у меня сигарету, трется боком о радиатор отопления, потом, опять же на четвереньках, направляется к комнате медсестер и там часами сидит под дверью, ждет, чтобы кто-нибудь сунул ему кусочек сахара.

Ты — мышь, которую с размаху шмякнули об пол, а сверху еще накрыли цветочным горшком. Ты должен спешить; бельэтаж, второй этаж, третьего тебе не достичь никогда. Из-за занавески в окне напротив следит за тобой в оптический прицел снайпер, ты тоже не можешь отвести взгляда от чьего-то чужого зрачка. Ты ползком пробираешься через кольцо осады, прекрасно зная, на кого идет облава. По чужим следам ты уходишь куда-то, где тебя не сумеют найти, откуда не смогут вернуть. Встретить бы хоть кого-нибудь, кому можно сказать по секрету, что домой ты больше никогда не вернешься. Покоя нет и не будет, к этой боли нельзя привыкнуть, как нельзя привыкнуть к деспотии почечных колик; цепь ошибок, которые ты допустил, въелась в сознание, тут уж ничего не исправишь, и не будет тебе ни прощения, ни наказания. Непрошеных квартирантов этих — не выгнать, не заболтать словами, они — как приблудные шелудивые псы, что согласны питаться лишь твоей плотью. Как только из-под штанины мелькнет твоя щиколотка, тут же слышится голодное, хриплое их дыхание; закрывайся, не закрывайся, они прогрызут любую дверь. Найдется ли на свете калитка, куда тебя бы впустили, а их оставили бы снаружи? Ты и в зеркале не увидишь собственного лица, оно украшено, из зеркала улыбается следователь, который тебя допрашивал; дотронься до кресла — под твоим указательным пальцем оно рассыплется в пыль. Ты ничего не способен сказать, но что с этого толку, если глаза выдают всем подслушивающим устройствам твои безрассудные, но запрещенные мнения. Удивительно, что к тебе кто-то еще вообще обращается, ты давно уже старая глухая тетеря, только распутная эта горилла вопит и беснуется там, внутри, ржет над собственными остротами, доводит тебя до изнеможения, у тебя и времени-то ни на что больше не остается. Ты бродишь в толпе слепых, словно покойник, которому как-то не удосужились сообщить, что он умер. Суетливо шагаешь из угла в угол, наступая строго на одни и те же плитки, или полдня сидишь на корточках у косяка входной двери. В мирное время ты оказался в плену, со всех сторон к тебе тянутся мягкие белые лапы, трясут тебя за подбородок: отвечай. Ты отводишь глаза, пересчитываешь листья на ветке дерева, пересчитываешь пальцы на руке. Ты сворачиваешься в позу зародыша, оставляя тем, кто тебя стережет, иллюзию пространства: оно пока еще в их власти. Только бы не этот голод

по женскому телу, что все еще заставляет трепетать твои увядшающие инстинкты. Любая крупица сущего — закодированный сигнал; ты покинул дом отца твоего, тебе так хочется сбросить с себя беспокойную оболочку плоти, чтобы в потустороннем сиянии оставаться самим собой, цельным, как яйцо. Ты сидишь на скамье, мечтая пригласить сюда, хотя бы на коротенькое свидание, большеглазых женщин с милыми лицами, но — эта кирпичная стена с побелкой в разводах копоти; может, тебя никто никогда и не приезжал навестить. Но откуда тогда у тебя этот пирог с таким знакомым, домашним вкусом, пирог, который ты, не глядя ни на кого, торопливо запихиваешь себе в рот?

2

Отсюда, из сумасшедшего дома, меня тянет сейчас в город моего детства; мне тошно от запаха испражнений и от множества омерзительных морд, хочется какого-то яркого зрелища. Звенят медные тарелки, верещат лилипуты, по главной улице вышагивают, раскачиваясь, двое ряженых на ходулях. На головах у них — остроконечные китайские колпаки, на штанинах, под которыми скрыты ходули, алеют генеральские лампасы, на плечах — золотистый плащ и живая мартышка. Из скрежещущих рупоров летят обещания умопомрачительных номеров, от которых у почтеннейшей публики кровь будет стынуть в жилах. Мы с братом, зачарованные, бежим следом за циркачами; два лилипута с огромными головами, с пропалленными переносицами ходят колесом, пинают друг друга под зад, шепеляво ругаются по-английски. Мартышка в матросском костюмчике покидает высокий настест, откуда мудро взирала на весь этот кавардак, и, гнусно гримасничая, раздает старикам-лилипутам затрешины: мол, ведите себя в рамках приличий.

В речке, что протекает между рыночной площадью и футбольным полем, стоят на галечном дне бабы с красными икрами, отбиваются вальками посконные простыни, служившие при зачатии не одного поколения горожан. Гусак-эпилептик шипит истерично, вытянув шею к остову циркового шатра; а когда на шестах возносится и натягивается мистический провонявший брезент, в клетке своей, вдруг озливвшись и издав злобный рык, лев бьет лапой по лиловой груде бычьих легких. На плечах у силача — два крокоди-

ла с бессмысленными глазами; дикими маками мы щекочем им края пасти. С натянутого каната спархивает акробатка, ноги ее с красными ноготками легко приземляются на спины крокодилов; лишь на груди у силача вздрагивает выггатуированная пиратская бригантина.

Возникает откуда-то полицейский с красным свекольным носом; за некоторую сумму чаевых он склонен пренебречь поддержанием правопорядка, а чтобы пренебрегать им как можно чаще, он до позднего вечера бродит по улицам, вынюхивая, не случилось ли где правонарушений. «На скрипке играть не положено», — заявляет он человечку с крутыми скулами, в широком клетчатом балахоне. Музыкант, сияя в ответ широкой улыбкой, продолжает играть. «А вы отнимите скрипку», — ласково подначивает он пузатого стражца. Скрипка переходит в руки полицейского, но из-под просторной полы клетчатого одеяния появляется другая, из рукавов вылезают кларнет, флейта; струны у музыканта — даже на подошвах ботинок. «Я сказал: не положено!» — яростно топает ногами весь увешанный музыкальными инструментами представитель враждебной искусству власти. Но клетчатый человечек и сам — сплошной инструмент: из его зубов, потом из ноздрей вновь и вновь раздается все та же жалобная мелодия. «Научи меня, — упрашиваю я его, — я тоже хочу быть музыкальным клоуном». Он кладет руку мне на плечо: «Этому никого нельзя научить, это только мой номер. Я десятилетиями его разучивал. Свой номер есть у каждого стоящего музыкального клоуна. Если ты терпелив, к страсти будет и у тебя».

Вечером человечек, уже как настоящий клоун с вымазанной белилами физиономией, выбегает на усыпанную опилками арену. В загадочном полумраке под куполом мечутся беспокойно лучи прожекторов, нагнетая ожидание и выхватывая в рядах лица зрителей, перекошенные улыбками, с губами, жирными от торопливо доедаемых бутербродов; лица эти, как и сам невесомый свет, словно парят в зияющем пустотой пространстве между конструкциями шатра. Из-под парика грустного клоуна безжизненно смотрит бескровный лик, неподвижный, как диск полной луны. В складках губ, в линии острого, будто у покойника, носа — ни скорби, ни смеха. Плавно, подобно канатоходцу, балансируя широко расставленными руками, он — привязанный к позорному столбу — изобра-

жает свободное парение. Судорожно извиваясь, освобождается от длинной, до пят, грубой рубахи; сейчас он – ловкач, который, если потребуется, сбежит даже с прозекторского стола. Во взмахах его гибких рук чудится неумолимость движения, каким в окраинной подворотне всаживают в живот невезучему прохожему узкое лезвие финки. Проницательно и презрительно, словно старый тюремщик, глядя в добродетельное лицо почтеннейшей публики, он разражается пронзительно-хриплым смехом, он видит тебя насквозь, небрежно беря в руки и осматривая каждый отдельный орган, и бесцеремонное это копание действует гипнотически, вызывая в душе почти мистический ужас.

Побьем же камнями этого колдуна, который, корча из себя деревенского дурачка, кощунственно пародирует самого Иисуса Христа! Ничтоже сумняшеся, он на весь белый свет разглашает то, о чем ты и думать страшишься. Рекордсмен ясновидения, он надсмеивается над собой, смешным же выглядишь – ты. В трагедии наши он подсовывает язвительные подтексты, на бронзовых воинов натягивает смирительную рубашку, весело мочится на освященные веками гербы, сворачивает в трубку пергамент докторского трактата и озорно дудит в него; он всех нас завлекает в цирк, обещая снять с души самые страшные прегрешения.

Идемте, идемте же в пестрый шатер, где, балансируя на плечах князя мускулов, небрежно завязывающего узлом стальной стержень, герцогиня трапеций поднимает вверх свою маленькую, крепкую, словно орешек, попку и складывается, наподобие книги, вдвое. Где белый медведь с солнечным зонтиком лихо катит на велосипеде, где тюлень жонгирует большим цветастым мячом, где в такт музыке пританцовывает на задних ногах кастрированный вороной жеребец с букетиками цветов в заплетенной гриве. Где тигр, спрятав когти, мягкой лапой поглаживает спесивого барабанщика, пока тот объедает травяную юбочку укротительницы-арапки. Где крохотные девчушки летают с непроницаемыми улыбками над пляшущими звездами. Где дирижер, управляя оркестром, перепрыгивает через свою палочку; где из медных воронок труб изливается теплый нутряной запах страха, выгибая вверх тую натянутый купол шатра. Где метатель ножей привязывает к доске жену, которая пьет все больше валерьянки, потому что у мужа в последнее время трясутся руки. Где всевидящая